

Т.Я. Орлова

Принципы изображения характеров и исторической ситуации в романе Д.С. Мережковского «14 декабря»

Аннотация: В статье анализируется система персонажей романа Д.С. Мережковского «14 декабря» с точки зрения выбора художественных средств и приемов, позволивших писателю представить участников этого исторического события исходя из собственных мировоззренческих постулатов, в том числе религиозно-нравственного характера.

Ключевые слова: Дмитрий Мережковский, «14 декабря», исторический роман, система персонажей, восстание декабристов, декабристы и Николай I

Abstract: This article analyzes the system of characters of the historic novel Dmitry Merezhkovsky «The 14th of December» in terms of choice of artistic media and tricks that allowed the writer to introduce the participants of this historical event based on his own Weltanschauung, religious principles and morality.

Key words: Dmitry Merezhkovsky, «The 14th of December», historic novel, system of characters, Decembrist uprising, Decembrists and Nikolai I

Роман «14 декабря» входит в трилогию «Царство Зверя». В ней писатель опирается на философские постулаты, выдвинутые в более ранней трилогии «Христос и Антихрист». По мысли Мережковского, Антихрист появился в России во время правления императора Петра Первого (роман «Петр и Алексей»), а в XIX столетии окончательно побеждает Христа, утверждая в стране свое царство – царство зверя. Такая идейно-философская грань проблематики прослеживается в драме «Павел I» (1908), в романах «Александр I» (1911) и «14 декабря» (1918). Обрисовывая русскую действительность первой трети XIX в, поступки и поведение персонажей, Мережковский, «существуя вне вымышленного мира»¹, очерчивает свой авторский горизонт художественного внимания и реализует основные моменты своего миропонимания.

Определенную нагрузку в этом плане несет подзаголовок – «Четырнадцатое», данный в начале романа. Он имеет несколько значений: конкретизирует временной пласт романного действия, указывает на реальный факт русской истории и в то же время имеет сугубо художественные качества, выполняя

¹ Stanzel F.K. Theories of Erzählens. 5 unveränd. Aufl. Göttingen, 1991. S. 71.

знаковую, символическую функцию – роман начинается почти за месяц до восстания декабристов. Писатель как бы предвосхищает грядущие события, тем самым выстраивая отношения со своими героями, намечает их оценки, а также привлекает и читателя к оценке изображаемого, иными словами, формирует определенную стратегию произведения. Смысл данного символа «объективно осуществляет себя... как динамическая тенденция; он не дан, а задан»¹. Этот рамочный элемент играет определенную роль в сюжетно-композиционном развитии: в завязке (до восстания), кульминации (день восстания) и развязке (правительственные карательные меры против декабристов, для которых 14 декабря 1825 года стало поворотным в жизни и судьбе).

Кроме того, «четырнадцатое» – мрачная цифра в авторской интерпретации. Восшествие Николая на престол сопряжено, по мысли Мережковского, со скорой победой темных сил над Христом. Подобная идея главенствует в трех стихотворениях Мережковского этого периода, посвященных декабристам, – «14 декабря», «14 декабря 17 года», «14 декабря 18 г.», пессимистических по проблематике и поэтической образности.

Роман начинается с дороги. Князь Валериан Михайлович Голицын возвращается в Петербург из Москвы, где встречался с членом Тайного общества Иваном Ивановичем Пушным, сопровождая по его просьбе дальнюю родственницу Нину Львовну Толычеву с девятнадцатилетней дочерью Марией Павловной. При этом конкретные пространство и время, связанные с топографическими реалиями, постепенно приобретают и другие художественно-смысловые функции. Неспешное движение почтового дилижанса, прозванного ямщиками «нележанцем», так как лежать в нем было невозможно, – своеобразный контрастный фон для стремительно развивающихся душевных отношений между Голицыным и Маринькой, как все называли Марию Павловну.

Доброе отношение повествователя к ней видно уже из портретного описания: «Обыкновенная уездная барышня... Одета по модной картинке из “Телеграфа”: меховой палантин добротного бабушкина гродетур темно-зеленого, клетчатый капор с розовыми лентами; густая черная коса заплетена в виде корзиночки, с висячими вдоль щек легкими гроздьями локонов... А у самой лицо, как у деревенской девушки, которая сидит на завалинке в желтом, с красными горошинами, платочке, смеется с парнями и грызет семечки» (7)². Таким соединением разных характеристических признаков Мережковский стремится создать многосторонний облик героини, показать ее близость к народу, врожденное благородство, исходя при этом не только из собственного восприятия художника, но, расширяя характеристику, вводя в повествование «мнение» окружающих: «Благоуханьем любви окружена, как

¹ Аверинцев С.С. Символ // Литературная энциклопедия. М., 2001. С. 975.

² Здесь и далее цит. по: Мережковский Д.С. Собр. соч.: В 4-х т. Т. 4. М., Изд-во «Правда», 1990. В скобках указан номер страницы.

цветущая сирень свежестью росною... все, глядя на Марью Павловну, думают: “Ах, хороша девка”!» (8)

Совместная поездка героев конкретизирует начало сюжетного действия, намечает событие, важное для взаимоотношений между Голицыным и Маринькой. «Смотрели друг на друга, улыбаясь молча, и оба чувствовали, что эта улыбка сближает их неудержимо растущей близостью» (11). В то же время в повествовании о симпатиях между героями возникают тревожные признаки, вызванные сообщением маменьки о предполагаемом замужестве Мариньки: «Не выходите замуж за господина Аквилонова, – проговорил он с внезапной решимостью» (13). Появляются и драматические знаки, связанные с политической деятельностью князя Голицына. Эта сторона изложения адресована прежде всего знающему исход Декабристского восстания читателю, а Маринька чувствует тревогу пока интуитивно, эмоционально: «...сердце у нее сжималось, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда, опасность смертельная» (10).

Повествователь, вступая в коммуникативные отношения и с героями, и с читателями, сообщает им, и прежде всего, на данном этапе развития действия, читателям, о трудной будущей судьбе героев. Счастливая жизнь Мариньки в Черемушках осталась в прошлом, «завтра» – неопределенно, так же как и для Валериана Голицына. Переживаемые ими моменты человеческой радости – все, что у них есть сейчас. Их жизненные дороги переплелись, но совпадут ли в будущем, неясно, это зависит от слишком многого, но прежде всего от надвигающегося политического события – восстания оппозиционеров-заговорщиков. Поездка героев (с разными целями) в Петербург неумолимо и неизбежно приближает их к этой роковой дате. Многозначные оценочные комментарии, заложенные в подзаголовке-символе «Четырнадцатое», расширяют сюжетные границы, намеченные любовной завязкой, раскрывая в романе философские и исторические стороны. Этот аспект проблематики реализуется прежде всего в главах, в которых повествователь, изображая исторические лица, сложившуюся ситуацию, размышляет о прошлом, настоящем и будущем России.

Эта часть романного действия начинается с 27 ноября 1825 г. Мережковский пишет, что с известием о смерти Александра I «в Петербурге наступила тишина необычайная. Все умолкло и замерло» (18). Перед самодержавием напрямую встал вопрос о будущем императоре и политическом курсе страны. Мрачные краски, ирония, переходящая в сарказм, зачастую неприкрытая неприязнь – все это входит в арсенал художественных средств автора при обрисовке представителей властных структур. В описании тронных интриг и перипетий этого периода очень сильна степень авторской субъективности. Мережковский, опираясь на исторические источники, по-своему, в силу своего миропонимания, интерпретирует события и исторические лица, выводя художественное повествование за пределы сухих фактов.

Отречение Константина от престола имеет, по мнению автора, причины как общего, так и личного плана. Характеризуя Константина, Мережковский не скрывает своего неприязненного отношения к нему: «Курнос, как Павел I; большие мутно-голубые глаза навывкате, насупленные брови; точащие густыми пучками белобрысых волос... руки длинные, ниже колен, как обезьяньи лапы... Вспоминали, как жаловалась бабушка императрица Екатерина Великая на бесчинное и бесчестное поведение внука» (18). В принципе, романист соглашается с самоопределением Константина, подписывавшего письма к учителю, французцу Лагарпу: «Осел Константин». На престол вступать категорически не хотел, был в бешенстве. Такая позиция Константина Павловича отразила, в понимании автора, и его дурной нрав, и легкомысленное нежелание исполнять предначертанную законом государственную миссию.

О втором кандидате на русский престол – Николае – Мережковский пишет: «Мальчик, прежде чем научился ходить, бил в барабан махал игрушечной сабелькой. А когда подросток, вскакивал с постели по ночам, чтобы постоять с ружьем. Никогда ничего не хотел знать, кроме солдатиков... В совершенстве усвоил прусский военный устав» (20). Стремясь дать достаточно многостороннюю характеристику Николаю, писатель использует довольно широкий спектр художественных средств, одним из которых является описание наружности: «Несмотря на двадцать семь лет, все еще худ худобой почти мальчишеской. Длинный, тонкий, гибкий, как ивовый прут. Узкое лицо, все в профиль. Черты необыкновенно правильные... Жидкие, слабо выющиеся, рыжеватого-белокурые волосы; такие же бачки на впалых щеках; впалые, темные, большие глаза; загнутый, с горбинкой нос; быстро бегущий назад, точно срезанный, лоб; выдающаяся вперед нижняя челюсть. Такое выражение лица, как будто вечно не в духе» (25). Эта «надутость» героя становится сквозным элементом в его характеристике.

Николай, в трактовке Мережковского, личность довольно противоречивая. Последние события сделали его нервным и даже пугливым. Узнав, что сын-наследник плачет об оставленных в Аничкином дворце деревянных лошадаках, подумал: «Нет, не о лошадаках, а об отце несчастном. Должно быть, беду предчувствует» (26). Некоторые биографические подробности, о которых автор сообщает через увиденный Николаем сон, объясняют его быстро появляющееся паническое состояние. Ему приснился его страх – из-за непреклонной решимости бабушки-императрицы, велевшей вырвать кривой зуб, страх перед дядькой Ламсдорфом, грозившим высечь его большой розгой, и перед братом Константином, пытавшимся догнать убегающего «бедного Никса» (27).

Для мнительного Николая этот был «сон в руку». Приснившийся кошмар он соединяет с явью, испытывая страх перед ней. Решительно отказавшийся царствовать Константин, объясняющий это боязнью революции, и Николая считает трусом, но храбрым, ведь боялся тот в детстве грозы, а «революция – та же гроза» (27). Ни унижения, ни мольбы Николая не заставили Константина переменить решение. В таком взвинченно-нервном состоя-

нии изображает Мережковский Николая накануне восшествия на престол. Он подчеркивает двойственность характера Николая, духовную зыбкость, что, по мнению автора, создает почву для антагонистического противостояния в его душе божеского и дьявольского начал. «Верил в Бога, но когда думал о Нем, представлялась черная дыра... Сколько ни молись, ни зови, – никто из дыры не откликнется» (27). Писатель отмечает его робость и фактическое бессилие перед темными силами. В ожидании Манифеста, который он должен подписать, как знак-предчувствие чего-то недоброго он видит в том, что не смог сыграть военную зорю на корнет-а пистоне, не было аппетита выпить чаю со сливками и сдобными булочками.

Описывая эпизод чтения Николаем подготовленного Сперанским Манифеста, Мережковский обращает внимание на некоторую натянутость ситуации. Подписание документа – важный государственный акт, узаконивающий историческое решение о престолонаследнике. При этом будущий император не обладал уверенностью, столь необходимой «для исполнения долга священного» (29). Кроме того, Манифест был составлен Сперанским, которого Николай «считал якобинцем отъявленным» (28), а на мнение подданных, что тот был большим философом, весьма категорично заявлял: «Я философ терпеть не могу! Я всех философов в чаютку вгоню!» (29) Под пристальным взглядом Сперанского Николай чувствует себя маленьким мальчиком, над которым тот смеется. Эта психологическая подробность ретроспективно возвращает читателя к описанию паники и страха, испытанных героем во сне.

Мережковский отмечает и лицемерие Николая, читавшего пункт о порядке наследования. Отречение Константина, согласно написанному Сперанским, было принято якобы еще Александром I, но до сих пор не было объявлено, и теперь Николай по «коренному закону» (29) становится престолонаследником. Помня, какие унижения пришлось ему испытать, умоляя брата принять трон, Николай посчитал это объяснение невразумительным, но, тотчас почувствовав, что «на воре шапка горит» (29), приказал, «надувшись», оставить, как есть. Подписал Манифест двенадцатым декабря, а не настоящим тринадцатым, опять же в силу своих предрассудков.

Писатель изображает Николая подверженным влиянию темных сил и слабым в истинной вере. Подписывая Манифест, «подумал, что надо бы вспомнить о Боге в такую минуту. Закрыв глаза, перекрестился, но, как всегда, при мысли о Боге, оказалась только черная дыра» (30). А вот тонкая и вместе грубая лезть Сперанского, что России нужен новый Петр Великий, пришлась ему по душе. И, утверждая свое властное право, произносит фактически программные для своего правления слова: «Не допускаю и мысли, чтобы во всем касающемся дел вверенной мне Богом империи кто-либо из подданных осмелился уклониться от указанного мною пути» (31).

Николай занимает одну из главных позиций в системе персонажей, но обрисовку его писатель не сводит только к этой важной конкретной художественной задаче. Мережковский расширяет границы характеристики героя,

реализуя свои философские взгляды – о добре, о природе зла, пытаюсь осмыслить и донести до читателя свое понимание морального долга самодержца и русского самодержавия в целом. «Константин – зверь, а Николай – машина. Что лучше, машина или зверь?» (20) Такие эпитеты, данные сыновьям Павла I, указывают на вполне определенное – отрицательное отношение к ним писателя. Возникший в его представлениях вопрос, кого предпочесть – Константина-зверя или Николая-машину, отражает, в эмоционально-категорической форме, сомнения автора прежде всего в нравственной сути русских самодержцев. Червоточина в прошлом появляется в настоящем и проявится в будущем, с безнадежностью размышляет он: «Два больших портрета, висевших друг против друга, Екатерины II и Александра I, выступали таинственно-призрачно, как будто Внучек и Бабушка переглядывались, перемигивались с одной и той же улыбкой лукаво-насмешливой» (20).

С симпатией описывает Мережковский Карамзина: «Высокого роста, благообразный, милый и важный старик... весь тихий, тишайший, осенний, вечерний» (20). Этот «милый» старик не угодил Николаю, поручившему ему подготовить Манифест о своем восшествии на престол. По-видимому, автору жаль, что документ не понравился будущему императору, а если бы был оценен положительно, то и русская история могла стать более «тихой».

Изображая дворцовую ситуацию, писатель не жалеет темных красок. Ноябрьский день короток, утром темно, и вечер наступает быстро. Но темнота – и метафора невежества, злобы, зависти, интриганства, ветхости, как физической, так и духовно-умственной. Именно такими он описывает многочисленных сановников, называя их «дряхлыми теньями». «А в самом темном углу сидели молча, не двигаясь, как три изваяния безжизненные, три вставшие из гроба покойника, – семидесятилетний министр внутренних дел Ланской, восьмидесятилетний министр просвещения Шишков и генерал Аракчеев, казавшийся вечным, без возраста» (20). Изображая важных подданных российского трона, Мережковский делает упор на том, что все они, за очень редким исключением, практически неспособны заниматься государственной деятельностью. И в силу своего преклонного возраста, и потому, что привыкли почивать на лаврах, оживляясь только при разговорах о раздаваемых почестях или опале кого-либо. Писатель с нескрываемой иронией описывает их государеву службу – многочасовое ожидание решения Николая о Манифесте и вступлении на престол.

Обрисовка исторических лиц, составляющих дворцовую элиту, имеет свои особенности. Они занимают в сюжетно-композиционной организации романа позиции второстепенных и эпизодических персонажей, что отражают способы художественного изображения. Прежде всего – это сжатость характеристики. Описывая их наружность, Мережковский показывает наиболее значимо-индивидуальные черты, помогающие, на его взгляд, понять их личностные качества. Авторское восприятие и оценка персонажей с историче-

скими именами проявляется в выразительных, эмоционально насыщенных словах и выражениях.

Воссоздавая, например, облик Алексея Львовича Нарышкина, Мережковский пишет: «Весь залитый золотом и бриллиантами с лицом величаво-приветливым и незначительным, с жеманно-любезной улыбкой вельмож екатерининских» (20). Обер-камергер, с пренебрежением говорящий о России, без уважения об умершем Александре I, с удовольствием повторяет шутку французского посла об игре в мячик, т. е. о том, что после смерти Александра Российскую корону перебрасывают, как мячик, один другому. Сложившуюся ситуацию Мережковский считает кризисной, подтверждая эту оценку, как художник, нелицеприятным изображением представителей дворянской власти, окружающих трон. Философские представления писателя, осуществляющиеся как философско-этические убеждения, способствуют более глубокому и широкому восприятию исторической проблематики.

Воспринимая Петра I как Антихриста, автор привносит в повествование мотив предостережения, когда Сперанский пророчит Николаю стать новым Петром Великим. Конечно, Сперанский – не приспешник дьявола, но Мережковский бросает ему упрек в слишком простом осмыслении исторического процесса, возвышающем самомнение будущего императора. Описание ближайшего советника Александра I передает отношение к нему писателя как к государственному деятелю, который в настоящее время уже не в силах привнести в российскую политику новое, свежее, перспективное: «Старик лет шестидесяти в довольно поношенном фраке с двумя звездами, с венчиком седых завитков вокруг лысого черепа, с лицом белизны удивительной, почти как молоко, с голубыми глазами, вращавшимися медленно, подернутыми влажностью, – “глаза умирающего теленка”, – сказал о них кто-то» (23). Автор плана либеральных преобразований, инициатор создания Государственного Совета и других начинаний в период царствования Александра, Сперанский отзывается о том времени как о «железном веке» (23), а покойного императора укоряет в нелюбви к отечеству.

Пренебрежение к предыдущему правителю, высказываемое им так нарочито громко, что слышат окружающие придворные, а с другой стороны, Александр – «отец и благодетель» (29), как Сперанский писал о нем в Манифесте. Такая неискренность, полагает Мережковский, присуща двуличным политикам и их политическим решениям. Антиподом Сперанскому писатель показывает Карамзина, который любил Александра, «как брата любимого» (23), и сильно переживал его кончину. Историк Российского государства уповаает на Бога: «Есть Бог – будем спокойны» (24), – но понимает, что грядущие перемены не сулят ничего хорошего и спокойного: «Кончена, кончена жизнь! Пора умирать, старая Бедная Лиза!» (24)

Делая портретные зарисовки, аттестуя сановников, собравшихся с самого утра в зале Государственного Совета в Зимнем дворце в ожидании судьбоносного известия о новом императоре, Мережковский с иронией, а порой и с

сарказмом передает их переживания, далекие от государственных забот и тревог. Весьма знаковым можно считать описание князя Александра Николаевича Голицына: «Маленький, толстенький, кругленький, как шарик» (24). Старые придворные – все, в переносном смысле, круглые, как шарики, не желающие острых проблем, катящиеся по чужой воле.

Нужно заметить, что все эти персонажи с известными историческими фамилиями не играют заметной роли в сюжетно-композиционном построении романа. Они собраны писателем в одном художественном пространстве, чтобы охарактеризовать сложившуюся после смерти Александра общественную ситуацию, как бы комментируя авторское повествование об этом напряженном моменте. Фактически Мережковский ограничивается данными им характеристиками и не выводит этих персонажей на последующих страницах романа, что, на наш взгляд, не способствует цельности произведения.

Особое место, по контрасту с околотронной дворянской массой, занимает фигура генерал-адъютанта Бенкендорфа: «Весь легкий, летящий, порхающий... Гладкий, чистый, вымытый, выбритый... Молодой среди старых, живой среди мертвых» (25). Мережковский дает ему довольно пространную, с биографическими подробностями, характеристику, особо отмечая «улыбку неподвижно-любезную, взор обманчиво-добрый, как у людей равнодушно-уклончивых (32). Но именно к нему Николай испытывал особое расположение, тотчас меняя при виде его выражение лица – с угрюмого на умиленное. «Вообще, – замечает писатель, – выражения лица его менялись мгновенно, внезапно до странности, как будто снимались и надевались маски» (32). Мережковский психологически как бы объединяет их – и тот, и другой носят «маски», люди с потайным душевным дном, причем зачастую приоткрывавшимся темными, недобрыми сторонами. Неоднократно обращая внимание на мгновенную смену масок Николаем: «Одна маска упала, другая наделась» (32), – он делает данную деталь сквозной, «играющей». Эта раздвоенность личности, склонность к лицедейству, полагает писатель, не может не проявляться и в его деятельности как государя.

С введением в роман Бенкендорфа автор начинает новый виток повествования, обрисовывая политическое состояние русского общества, касаясь, прежде всего, вопросов возможной смуты, проявления неповиновения. Генерал-адъютант Александр Христофорович как никто другой знал об этих проблемах не понаслышке. По его мнению, в городе пока тишина, но как бывает перед бурей, потому что «революция в умах уже существует» (33). Бенкендорф знал о тайных обществах, докладывал императору Александру о тайном обществе подполковника Пестеля, но тот не дал хода этому донесению, пролежавшему в столе четыре года. И теперь, уверен он, не надо никому говорить об этом, особенно Милорадовичу, потому что «он сам окружен злодеями» (33).

Возникший новый персонаж проясняет в определенной степени, по мысли автора, оппозиционные настроения. Военный губернатор Петербурга, ге-

рой Отечественной войны, сподвижник Суворова, Милорадович, несмотря на шестой десяток лет, все еще, отмечает писатель, имел бодрый вид. Но при этом Мережковский пишет и о «масляных глазках старого дамского угодника» (35), подмечая слабости бравого генерала. Злые, наушнические слова Бенкендорфа о Милорадовиче, якобы бывшего против вступления на престол Николая, воспринимаются императором как правдивые и верные. Действительно, как бы в забывчивости, Милорадович несколько раз обращается к Николаю как к его высочеству, а не величеству. На самом деле, отмечает Мережковский, Милорадович высказывал то, что будоражило многие умы, – способ восшествия на престол: «Нелегко заставить присягнуть посредством манифеста, изданного от того лица, которое желает воссесть на престол» (36). Эти слова, опасно граничившие с обвинением Николая в самозванстве, были болезненными для него, он сам знал, что такое его коронование не имело законодательной поддержки. Но это пока. Он сам, с помощью верных подданных, того же Сперанского, нашел новую в истории семейства Романовых законодательную опору. Милорадович же, коснувшись этой слабой позиции императора, сразу оказывается в опале, вызывая его гнев: «Бросится сейчас и не ударит, а укусит, как помешанный» (37).

Негодование Николая вызывает и отношение губернатора Петербурга к тайным обществам. Зная о собраниях «Полярной Звезды» у Рылеева, Милорадович расценивает их как игры, которыми забавляются «мальчишки, писачки, альманашники» (37). Взбешенный такой беспечностью, Николай выгоняет его, находя утешение в сочувствии Бенкендорфа.

Писатель показывает в этой сцене обстановку в силовых структурах накануне восстания. Для Николая Милорадович – «мерзавец», Бенкендорф – друг, но, как спешит добавить автор, Бенкендорф только «делает вид, что поддерживает» (37) самодержца. Многозначительными словами Николая: «Завтра четырнадцатое, я – или государь, или мертв» (38). Мережковский подготавливает почву для изображения драматического момента в русской истории, создавая в повествовании атмосферу напряженности, ожидания бед. Принципы обрисовки характеров революционеров подчинены такому восприятию писателем «четырнадцатого».

Композиционная внезапность перехода к изображению Северного тайного общества – приход к Рылееву Голицына и Оболенского – несколько нарочита. С помощью этого приема писатель, вероятно, хочет подчеркнуть одно время действия, передать своеобразную хронику петербургских событий и напряженность складывающейся ситуации. Также поспешно он и Оболенского – известное, конечно, историческое лицо – делает одним из основных героев, действующих в романе. Создавая систему персонажей в этом повествовательном периоде, Мережковский выделяет главных героев и создает романную микросреду, объединяя в нее Рылеева, Голицына, Оболенского. Ведущим, по исторической значимости, становится Кондратий Рылеев, но воз-

растает и роль Валериана Голицына, впечатления которого во многих случаях совпадают с авторскими.

Именно глазами Голицына, уже бывавшего, как оказалось, здесь, описывает писатель обстановку в доме Рылеева, где постоянно толпились гости, «приходили и уходили, уже без всякой осторожности» (38). Мережковский отмечает царившее здесь запустение, жалкий интерьер и, самое важное для него наблюдение, – «лампадки перед образами потухли» (38). Безусловно, эта деталь – символическая, знак его настороженного отношения к делам заговорщиков и к Рылееву. Характеры декабристов Мережковский стремится отобразить с разных сторон, описывая их человеческие качества, поступки и передавая идейные взгляды. Смысловую нагрузку несет обширная экспозиция, в которой писатель изображает массу заговорщиков за несколько часов до восстания. Выполнение такой задачи художественно непросто, и, можно сказать, автор перенасыщает повествовательное поле именами, значительными и незначительными, разного рода подробностями – от бытовых до биографических.

Безусловно, в этих характеристиках находит отражение миропонимание писателя, в частности, в оценках героев с религиозной точки зрения. Князь Евгений Петрович Оболенский, выручая младшего двоюродного брата, дрался на дуэли с поручиком Свиныным и убил его. Долгое время пребывал в душевном расстройстве, не понимал, виновен он или нет. Наконец, обратившись к Богу, стал молиться и осознал, что нужно искупить вину. Вступил сначала в масонскую ложу, затем в Северное тайное общество и понял, что нашел то, что искал, – «свой искупительный подвиг» (44). Но мучения Оболенского накануне восстания – можно или нельзя убивать – выдают его моральную нестойкость. Он не хочет убивать, но ведь в планах Пестеля, размышляет он, прямо сказано, «сколько будет жертв» (46). Мережковский, показывая эти раздирающие душу героя глубокие сомнения, осуждает кровавые планы заговорщиков, далекие, по его убеждению, от божественного промысла, отмечая, что в идеологических построениях революционеров не всегда верно, а то и искаженно трактуется божественная идея.

К лидеру Северного общества Рылееву писатель относится неоднозначно. Он выказывает чисто человеческое сочувствие к его болезненному состоянию: «На диване спал Рылеев в старом халате, с шерстяным вязаным платком на шее, с лицом неподвижным, как у мертвого» (38). Это не «живой мертвец», как кто-либо из старой когорты приближенных, но смерть его, знает и автор, и читатель, близка. Мистическими предсказаниями, увиденными Рылеевым во сне, словами Николая Бестужева «Забыл, к чему шею готовишь?» (39) автор спешит очертить его несчастливую судьбу. Но, приняв окончательное решение о выступлении четырнадцатого, он полностью преобразуется: он – лидер движения, решительный и смелый, как не бывало утренней слабости, «казался почти здоровым... легкий, как бы летящий, стремительный, подобно развеваемому ветром пламени» (53). При этом пи-

сатель отмечает, что, полностью отдаваясь революционному порыву, Рылеев забывает свой семейный долг: жена его с дочкой «ютились в тесноте» (38), дверь в их комнату была наглухо закрыта, исчезло все, что было «веселенькое, невинное, именинное и новобрачное» (38).

Мережковский не приемлет религиозные представления Рылеева, его безбожие. Эту духовную сторону его личности он раскрывает в диалоге с Голицыным. На вопрос Рылеева, есть ли Бог, Голицын отвечает «есть», а Рылеев произносит: «Ну, не знаю, может и есть. А только вам-то на что? Ведь вы свободы хотите?» (42). Он уверен, что в идейной борьбе за свободу вера в «вашего» Бога приведет к рабству и соединить небо – Бога с земными делами нельзя. Для писателя это несправедливые мысли, он отвечает словами Голицына, что Бог уже научил: «Да будет воля Твоя на земле, как на небе» (там же). При этом, показывая автор, Рылеев в своих призывах обращается к Богу, но, скорее, по привычке: «Итак, с Богом! Мы начнем» (40). Просит Голицына перекрестить его и сказать напутственное божеское слово: «Помоги вам Бог, Рылеев! Христос с вами! С нами со всеми Христос!» (79) Такие неустойчивые нравственные понятия, считает писатель, указывают на противоречивый, крайне двойственный облик декабриста.

В его характеристику Мережковский добавляет такие детали, которые, имеют, скорее всего, чисто литературное значение. Накануне восстания Рылеев дает Каховскому кинжал. «Это был знак, давно между ними условленный: получивший кинжал избирается Верховною Думою Тайного общества в цареубийцы» (77). Даже в планах декабристов, подчеркивает писатель, есть такой обязательный пункт. Эпизод этот сам по себе примечательный, раскрывающий идейные и психологические отношения между соратниками. По-деловому Рылеев советует Каховскому, надеть мундир, рано утром, еще до сбора на Сенатской площади, пойти во дворец и убить Николая, а не получится, тогда уж на площади. Автор рисует Каховского как нервного, взвинченного человека, одинокого по своей сути. Рылеев расценивает акт убийства царя как честь, но сорвавшийся Каховский – как знак неуважения, унижения для себя: «Наточил кинжал, но берегись – уколешься!» (78) И Оболенский упрекает Рылеева, произнося почти пророческие слова: «Лучше самому убить, чем другому сказать: убей» (там же).

В идейных воззрениях руководителя тайного общества автор видит отражение романтического миропонимания, наполняющего его творчество. Как пример, приводит отрывок из стихотворения: «Известно мне: погибель ждет / Того, кто первый восстает / На утеснителей народа...» (40). Писатель указывает на непонимание простыми людьми ни высокопарных слов Рылеева, ни того, что они выражают. Сам он с горечью в этом убеждается. В большом монологе он рассказывает о попытке агитации среди солдат, которые готовы были грудью встать за царя Константина: «Ну, я и разошелся, заговорил о конституции, о вольности, о правах человеческих... слышу смеется солдатик пьяненький... : “Эх, барин, барин, хороший барин, да бестол-

ковый! Кажись, и по-русски говорит, а ничего не поймешь!»... я вдруг понял... Даже не смеем сказать, что восстаем за вольность, – говорим: за царя Константина. Лжем. А когда узнает правду народ, то нас же проклянет» (41). Смелые задачи, которые они ставили перед собой, он сам же расценивает как невыполнимые, погибельные: «Верьте, друзья, я никогда не надеялся, что дело наше может состояться иначе, как нашу собственную гибелью... Не увидят свободной России наши глаза, ни глаза наших внуков и правнуков! Погибнем бесславно, бесследно, бессмысленно» (там же). Пессимизм в сочетании с фанатической верой в высокие идеалы, понимание неизбежной гибели и необходимости бороться до конца – таковы составляющие, в представлении Мережковского, жертвенного героизма декабристов.

Он обращает внимание на то, что в среде заговорщиков было беспечное отношение к возможной опасности. У Рылеева хранились пачки издаваемого им и Бестужевым альманаха «Полярная Звезда», казачок Филька пропускал в дом всех проходящих, а Рылеев «совсем людей не знал» (45) и не мог бы распознать противников или предателей, как, например, Ростовцева. Хотя тот и не был членом Тайного Общества, но, зная многих участников и планы заговорщиков, донес все Николаю и на радостях изложил беседу с ним в рукописи «Прекраснейший день моей жизни», которую принес в штаб движения. Руководство Общества решило – «убить подлеца» (40). Такое решение не согласуется с религиозными убеждениями автора, он осуждает такую скоропалительную безапелляционность. Да и с моральной точки зрения убить своего же, пусть и бывшего, союзника – безнравственно, не по-христиански. Голицын пытается расшифровывать ситуацию, говоря, что Ростовцев ставит свечку и Богу, и дьяволу. Кого имеет в виду Мережковский под Богом и дьяволом – в данном случае понять трудно.

Неоднозначно трактует он и фигуру «диктатора» заговорщиков князя Сергея Петровича Трубецкого. Оболенский характеризует его как храброго офицера, но не храброго заговорщика: «Для такого дела, как наше, нет человека менее пригодного... революции хочет вежливой... на розовой воде» (45). Но его охлаждение к Обществу, по мнению Оболенского, это вовсе не подлость, как думает Голицын. Причину Оболенский видит в слишком благополучной жизни Трубецкого: молод, знатен, богат, женат на прекрасной женщине. Великолепное устройство быта, размеренная жизнь русского барина, «почтительно-ласковые» слуги – все это привычное и ценное им. Но самое главное – семейная безмятежность, любовь к жене Екатерине. Конечно, отойти от такой счастливой жизни, разрушить ее Трубецкой и помыслить не мог. Не таким, в интерпретации автора, был Рылеев, как было замечено, равнодушный к быту и ставящий политические заботы выше семейных.

Мережковский, показывая разное отношение Голицына и Оболенского к Трубецкому, соглашается то с одним, то с другим. Голицын осуждает его недопустимую, накануне выступления, слабость, воспринимаемую как предательство движения, которое сам Трубецкой так вдохновлял в написанной

им конституции «Устав Славяно-русской Империи». В ней он призывал к отмене рабства, уничтожению разницы между благородными и простолюдинами, так как это противоречит христианской вере, а все люди – братья. Теперь Голицын, и автор явно солидарен с ним, видит в Трубецком «вельможного «либералиста... идущего к простому народу со свободой, братством и равенством» (49). Оболенский пытается объяснить напряженную ситуацию: «Все наше восстание – душа без тела. И не мы одни, – все русские люди такие же: чудесные люди в мыслях, а в деле – квашни» (45). Известие о завтрашнем выступлении повергает Трубецкого в ужас: «Восста ...восста... – хотел Трубецкой выговорить и не смог» (52). И Оболенский утешает его, глядя, как недавно Рылеева, по голове. Писатель также сочувствует потерявшемуся почти до обморока человеку, но не диктатору восстания.

Описывая атмосферу в штабе Рылеева накануне восстания, Мережковский как бы соглашается с Милорадовичем, называвшим заговорщиков «мальчишками, писачками», обсуждавшими серьезные планы выступления за несколько часов до начала. Трубецкой предлагает, объединив бунтующие против Николая войска, идти к Сенату и требовать утверждения манифеста о том, что назначенные от всех сословий люди должны определить, кто будет на престоле. Назначить временное правительство, а войскам расположиться близ города, чтобы обеспечивать спокойствие и тишину. И во всяком случае необходимо соблюсти «весь вид законности» (53). Совершенно иначе видит ход восстания Рылеев, считавший, что собирать все полки слишком долго, сам он «наверное» отвечает за преданность двух полков – Московского и лейб-гренадерского, этого вполне достаточно. «Хоть пятьдесят человек придет, я становлюсь в ряды с ними!» (55) Он уверен, что «успех революции в одном слове: дерзай!» (71)

Победа будет на их стороне, нужно только агитировать полки против принятия присяги, «кричать», что отречение Константина было не по его воле, и вести взбунтовавшиеся войска на площадь. Дальше – «будем действовать по обстоятельствам» (76). Действия же заговорщики видели по-разному. Якубович предлагает напоить солдат, разбив кабаки, уж тогда они и мужики возьмутся за штыки и топоры, поджечь город, захватить царя и провозгласить республику. У штабс-капитана князя Щепкина-Ростовского, проклинавшего нерешительность некоторых заговорщиков, свой план: «Надобно резать, резать, да и только!» (56) Резать хочет, уверен Трубецкой, не только он один, а почти все: «Только о крови, об убийстве и думают» (56).

Мережковский приходит к одному из главных своих морально-этических выводов – о двойственности идей и действий заговорщиков: высокое, чистое, святое, по своей сути, стремление к вольности, свободе переплетается у них с низменными желаниями, поступками, противными божественному духу, но угодными дьявольскому началу. Многие из них мучаются внутренними сомнениями, как и сам порывистый и внешне уверенный в себе Рылеев: «Тяжко, братья, тяжко!»(79)

Писатель сообщает и о будущих, после победы, намерениях декабристов, которые он называет «невнятными» и «сбивчивыми», как манеру чтения бароном Штейнгелем манифеста от Сената. Тут изложенные в нескольких положениях-пунктах все главные политические и гражданские задачи революционеров: и уничтожение бывшего правления, постоянной армии, крепостного права, и равенство всех сословий, и уничтожение цензуры, и свободное существование всех вер, и судебные реформы. Кроме прочего, и столицей России будет город Славянск, переименованный из Нижнего Новгорода. А инженерный подполковник Батенков, потерявший в сражении во время Отечественной войны солдат и пушки от «чрезмерной храбрости» и потому, по язвительному замечанию Мережковского, считавшийся героем, предложил переделать военные поселения Аракчеева в национальную гвардию, а Петропавловскую крепость передать муниципалитету.

Осуществить все это «очень просто», по мнению барона Штейнгеля, – нужно заставить Сенат принять все условия, прежде всего то, что новая власть будет обладать неограниченной властью, раздать министерства, армию и прочее членам Общества, народные же представители утвердят новый порядок во всем Российском государстве. У заговорщиков, с иронией пишет автор, словно захватывало дух от ощущения своей силы: «Что захотят, то и сделают, как решат, так и будет» (69), – ведь в России очень легко сделать революцию, надо только послать печатные указания в Сенат. И о них будет страничка в истории, по восторженному желанию Александра Бестужева. Словно опьяненные собственной храбростью, заговорщики готовы были прямо сейчас, ночью бежать на Сенатскую площадь. Разбушевавшийся князь Щепин кричал: «Скорее! Скорее!.. Утра ждать нечего!» (71) Фактически свою победную революцию, в художественной интерпретации автора, декабристы совершили накануне настоящего восстания.

Соотнося российскую власть, пребывавшую в кризисном, переломном состоянии, и Тайное Северное общество, Мережковский пишет о неизбежности их столкновения, инициаторами которого выступают революционеры, выдвигая свои политические задачи. При этом критический акцент при изображении и той, и другой силы показывает отношение писателя не столько к гражданско-политическому их противостоянию, сколько к морально-нравственной сути обеих сторон. Авторская задача усложняется еще и привнесением в оценки персонажей религиозного аспекта. Изображение сложившейся ситуации под таким углом зрения несколько размывает сюжетные контуры исторического повествования, завязка которого художественно не определена.

Кроме того, обрисовка характеров декабристов накануне выступления прервана описанием отношений Голицына и Мариньки в Петербурге, что с сюжетной точки зрения замедляет ход действия, но эта вставка необходима Мережковскому для высказывания своих мировоззренческих предсказаний-выводов. Пришедший попрощаться 13 декабря Голицын ощущает, что он возвратился в старый дом, «как в сновидение» (62), что такой дом он и соби-

рался разрушить, «для этого он и шел на восстание. Не хотел жалеть, а все-таки жалел» (там же). Автор сообщает, что Маринька теперь свободна, выходить замуж за нелюбимого Аквилонова не нужно, Голицын оплатил долг за имение в Черемушках. Но прощание героев писатель дает с подтекстом. Взволнованный Голицын говорит о возможной разлуке, даже смерти, и Маринька чувствовала, что «этому человеку грозит беда – и надо помочь ему, остеречь, спасти» (67). Мережковский высказывает мысль, что спасти Россию сможет «Мать и Невеста вместе» (69). После этого свидания Голицын вновь возвращается на сходку заговорщиков, к речам о крови, о России, пылающей в пожаре мятежа. Таким способом, с помощью героя Голицына, писатель как бы восстановил сюжетную линию и привнес в повествование философский элемент.

С историко-философского замечания писатель и начинает изображение «четырнадцатого». «С Петра начинается революция в России, которая продолжается и до сего дня», – вспомнил Голицын слова Пушкина» (80). Мережковский набрасывает замечательный жанровый эскиз зимнего петербургского утра: Адмиралтейскую иглу, замершую Неву, бабу, полоскавшую белье в проруби, старичка-фонарщика, сыщика в темных очках. Но детали этой картинки он наполняет символическим смыслом, предупреждением о надвигающейся опасности. Нева, казалось, уходит в белую мглу, за край земли и света; Медный всадник тоже скачет в эту кромешную тьму, ворона каркает, держа в клюве что-то красное, как кровь. Никого кроме Голицына и Пущина, пришедших к восьми часам на Сенатскую площадь – назначенному времени восстания, не было. Писатель как бы замедляет время, с суеверной надеждой задаваясь вопросом: а может, и не будет ничего? Но его герой Голицын, которому недавно было жаль разрушать устоявшийся мир – как старый, но уютный дом – испытывает томление, скуку от мысли, что ничего не произойдет. Обращая внимание на противоречивость характера этого в целом положительного героя, автор переносит такую оценку и на других персонажей.

Начавшийся мятеж Мережковский называет бунтом, беспорядками, но не восстанием, как определяли свое выступление декабристы. Стихийное начало, беспорядочное движение бегущей толпы, противоречивые выкрики: кто за Николая, кто за Константина. Солдаты лейб-гвардии Московского полка неистово шли на штурм «невидимой крепости» (83). Писатель не скрывает своего отношения к происходящему – это светопреставление, а участники его черти, маленькие – уличные мальчишки и «три больших черта, три штабс-капитана... Александр и Михаил Бестужевы... и князь Щепин-Ростовский... зарубил трех человек до смерти» (83). Достигнув памятника Петру, бунтовщики встали в боевую колонну, внутри которой собрались члены Северного Общества, и за штыками солдат им «было надежно, как в крепости» (64), уютно, тепло от дыхания многих людей. Мережковский, как злой провидец, уже в первые минуты мятежа пророчит бунтовщикам аресты, стражу, крепость. И единение декабристов с солдатами, в его видении, было иллюзорным, на миг, до того как заговорщики ста-

нут преступниками. От солдат пахло ржаным хлебом, сермягой, а от «маменькина сынка» Оболенского – тонкими духами, пермскую фиалкою» (там же). Голицыну это смешение разных запахов казалось «вещим», а автору – призрачным, неестественным.

Этот боевой лагерь декабристов, в художественном изложении автора, – начальный и конечный этап их выступления. Что делать – не знали; Рылеев «все утро метался как угорелый» (86), собирая войска, но никого не привел. Диктатор Трубецкой на площадь не пришел, и Рылеев вновь, как «угорелый», бросился искать его по городу. Мережковский обращает внимание на стихийность происходящего, растерянность руководства Тайного общества, не знавшего, как и куда направить мятежные силы. Подумали было, как иронически замечает автор, арестовать сенаторов, но оказалось, что они уже давно присягнули и уехали в Зимний дворец. Высокие лозунги и призывы, долженствующие укреплять и поднимать дух борцов, во время восстания декабристами не провозглашались, они отзвучали ранее, накануне – в таком пессимистическом ключе оценивает писатель эту «стоячую революцию», соглашаясь с язвительным Каховским. Только глухое недовольство толпы, высказывающей свое понимание ситуации: государь-император – Константин Павлович, он уничтожит всякое притеснение простого народа, накажет господ благородных – и потому: «Ура Константин!» (88) В поведении бунтующей толпы писатель видит потенциальную жестокость, готовность пустить в ход ножи, кирки, железные ломы, дубинки, как во время пугачевщины. Нужно заметить, что в описании народа есть налет некоторой трафаретности, граничащей с оттенком пренебрежения.

Первой жертвой конфликта декабристов с властью, как это описывает автор, стал Милорадович. В мундире, шитом золотом, со всеми орденами и знаками отличия он выглядел молодцом на гарцующей лошади. Но во всем этом парадном одеянии он попал на площадь прямо из театра, от танцовщицы Телешовой. Мережковский с иронией пишет о его помятом лице, масляных глазках, жидких крашенных височках. Но не может не отметить храбрости героя Отечественной войны, не испугавшегося направленных на него штыков. По праву автора Мережковский пишет о суровом восприятии Милорадовича окружающими людьми: «А простые глаза простых людей, как стальные штыки, прямо на него уставились: «Ах, ты шут гороховый, хвастунишка, фанфаронишка!» (89) Призывные слова военного губернатора Петербурга к старым солдатам не уничтожили их «угрюмой злобы» (там же), а смерть он принял от рук «шалунов, дурачков несчастных» (89), как он называл заговорщиков.

Нельзя не заметить, что, описывая убийство Милорадовича, писатель вольно обошелся с историческим фактом. Стрелял и смертельно ранил его Каховский, это автор отразил в повествовании, но и Оболенский, как пишет Мережковский, принял участие в этой трагедии. Поняв намерения Каховского и ужаснувшись им, Оболенский, стараясь отогнать лошадь Милорадовича

подальше, начал колоть ее штыком, и на этот его штык наткнулся падающий Милорадович, «и острие вонзилось ему в спину, между ребрами» (90). Здесь, видимо, сыграло свою роль желание писателя добавить черной краски в облик Оболенского, искренне сочувствующего страдающим людям – и Рылееву, и Трубецкому, все время повторявшего, что все будет хорошо и ладно. Теперь и этот герой, и Каховский, и все мятежники «переступили кровь» (90).

«Четырнадцатое» и для Николая, как он и предчувствовал, по уверениям автора, стало днем больших испытаний. Показав его охваченным волнением, в смятенном настроении перед принятием присяги, Мережковский, продолжая его изображение, вновь обращает внимание на беспокойное, тревожное состояние императора. И первое, о чем он говорит, был уязвивший его накануне намек на самозванство. В этом просматривается символическая связь с происходящими за пределами Зимнего дворца волнениями, главным призывом которых была славица Константину. Но связь эта, нужно сказать, довольно натянутая, схематичная. В этот знаменательный для него день Николай играет роль и надевает маску Дон-Кихота, рыцаря без страха и упрека. Но, как с насмешкой пишет Мережковский, услышав слово «бунт», совершенно потерялся, заметался, побежал на дворцовую гауптвахту, видимо, хотел приказать караулу охранять двери во дворец, выбежал за главные ворота дворца, очутился один, без свиты на Дворцовой площади среди толпы прохожих.

В этой сцене, одном из примеров художественного вымысла писателя, он показывает Николая в неожиданном ракурсе. Что-то доказывая, читая и объясняя манифест, он все говорил в толпу: «Наденьте шапки, наденьте шапки – простудитесь!» (92) Люди падали на колени, целовали ему руки, хватили за одежду, кричали: «Государь-батюшка, отец ты наш! Всех на ключья разорвем, не выдадим!» (92). И только один пьяный из толпы, как его ни били, крикнул: «Ура, Константин!» (там же). Но, увидев строившийся Преображенский полк, свиту, сев на коня, Николай вновь надевает маску рыцаря без страха и упрека. Он снова повелитель, государь, приказывающий солдатам идти туда, куда он скажет. Мережковский изображает Николая двуликим, порой грубо-несдержанным. Благодаря именно этой сердитой несдержанности он, как пишет автор, побеждал страх и дрожь во всем теле. Вместе с тем писатель отмечает и проницательность Николая, распознавшего в декабристе Якубовиче человека неискреннего, по существу – предателя своего дела, когда тот явился к нему с повинной. В интерпретации автора Якубович был человеком недалеким, плохим актером по своей внутренней сути. Находясь близко от императора, он мог его убить, но не сделал этого не из-за трусости, а оттого, что не знал, почему он должен сделать это. К тому же, с сарказмом добавляет Мережковский, ему казалось, что цареубийца «должен быть в черном платье, на черном коне, и непременно, чтобы парад и солнце, и музыка. А так просто убить, что за удовольствие?» (95)

Изображение исторической ситуации, так же как и персонажей романа, находится под сильным давлением авторского мировосприятия. Штаб

восстания – члены Тайного общества – находился в середине каре, образованного полками около памятника Петру. Тут было полковое знамя, простреленное во время битв в Отечественной войне, ставшее святым символом вольности, столик с бумагами, – видимо, как не замедлил иронически уточнить писатель, с недописанным манифестом, – каравай хлеба и бутылка вина, тоже святая еда вольности. Чтобы видеть происходящее на площади, где собралась многотысячная толпа, членам Общества приходилось взбираться на гранитные глыбы, сваленные у подножия памятника. Вместе с приведенными Михаилом Кюхельбекером и Николаем Бестужевым лейб-гвардии ротами флота на площади было около трех тысяч солдат и много тысяч народа, готовых к бою. Но команду некому было отдавать, Трубецкой так и не появился, а другого, «с маленькими эполетами и без имени» (97), слушать никто не хотел.

Что происходит и что нужно делать, не знали ни восставшие, ни противоположная сторона. Но злоба накапливалась, ища выхода в насилии, убийствах. Мережковский пишет об убийстве полкового командира Стюрлера, в которого выстрелил Каховский, а солдаты добили его штыками. Зверские поступки, ожесточение наравне с восторгом, братскими объятиями, целованием, как на пасху, – так, с морально-этической точки зрения воспринимает и оценивает автор восстание декабристов. В русле этой оценки находятся и религиозно-мистические размышления, не всегда ясные, намеренно или неосознанно запутанные. Каре из войск вокруг памятника он называет несокрушимым, «святой крепостью человеческой совести» (96) опирающегося на скалу Петрову. Но, как кажется Голицыну, когда промелькнуло «привидение солнца» (там же), осветив памятник, «страшную жизнью ожил лик нечеловеческий» (там же). С Ним, Петром, или против Него? – таким вопросом мучается и герой-декабрист, и автор. Но тот же Голицын вспоминает Бога, коря себя за малодушную забывчивость, а Мережковский находит, видимо, духовный компромисс в словах Оболенского: «Может быть, мы и не с Ним, да уж Он-то наверное с нами!» (112) После жестокой артиллерийской атаки, когда было разбито каре солдат-защитников, людей на площади безжалостно расстреливали, когда «все смешалось в дико ревушем, вопящем и воющем хаосе» (117), Голицын, увидев Николая на белом коне, окончательно прозрел: надо «убить Зверя» (там же).

Художественное воссоздание событий «четырнадцатого» отражает размышления Мережковского о борьбе божеского и дьявольского начал, особенно в смутное, беспокойное время. Поступки, совершаемые человеком, проявляют его внутреннюю сущность, духовное состояние. В этой связи писатель не только показывает вступивших в открытую схватку противников, но, оценивая героев с нравственной точки зрения, и в их собственных рядах видит противоборство. Старичок священник, привезенный каким-то генералом на площадь, чтобы попробовать усмирить бунтовщиков, со страхом взглядываясь в солдат, представляя их жестокими зверями, увидел вовсе не страш-

ные – человеческие лица, а у Голицына – «лицо самого дьявола» (103). Тот, поцеловав крест, с издевкой заметил, что теперь, хотя и не по своей воле, владыка осенил их борьбу за вольность крестным знаменем.

Свою нерешительность к активным действиям Оболенский, который был таки избран диктатором вместо Трубецкого, объясняет тем, что так надо, так угодно Богу. Николай так же все никак не может решиться прибегнуть к силе артиллерии. Не хочет кровопролития (так говорит генералу Толю Бенкендорфу), но автор показывает внутреннюю неуверенность Николая, граничащую с трусостью. Он не знает, на что решиться: забыл роль, которую играет в этот момент, «боялся сфальшивить» (104). И эту фальшь Мережковский подчеркивает в каждом поступке Николая, то прячущегося от пуль за забором, то выскакивающего на лошади чуть ли не к мятежникам. Надевший маску доброго и смелого рыцаря, Николай, конечно, не мог простить злых и болезненных для него выкриков из толпы, когда он проявил заботу: ведь стреляют в него, а могут попасть в них. «Мякенькой стал... лисите... , а потом нашего же брата в бараний рог согнете... самозванец!» (107–108). Эта сцена появляется в романе вдруг и художественно слаба, но, наверное, важна для писателя, лишний раз подметившего лицедейство Николая.

В сознании героя писатель отмечает сильные колебания, как будто какие-то силы вступили в противоборство. Он вспоминает маленького сына, улыбавшегося во сне, себя – так же улыбавшегося штабс-капитана Романова, и обращается к Богу: «Господи, спаси! Господи, помоги! – попробовал государь молиться, но не мог» (114). Еще одну возможность остановить безумие дает ему простой солдат-артиллерист, не хотевший стрелять в «своих»: «Глаза их встретились, и как будто расстояние между ними исчезло: не раб смотрел на царя, а человек на человека» (115). Николай, представив, что, расстреливая «своих», он убивает и сына Сашу, хотел дать команду «отставить», но, как пишет автор, «чья-то страшная рука сдавила ему горло» (там же), и бойня началась. Так Мережковский изображает окончательный перелом и в душе Николая, поддавшегося воздействию темных сил, и разгром декабристского восстания. Расстрелянные полки, десятки тысяч убитых – и, как окончательная точка, рассказ писателя о святом для революционеров знамени вольности. Знаменщик отдал его, по приказу Бестужева, поручику атакующего эскадрона, но тут же был зарублен, а офицер ускакал со взятым знаменем.

Одоловший противника, Николай, пишет Мережковский, вновь вошел в свою роль, «опять пристала личина к лицу» (120); знал, что теперь уже не собьется. Лицо его оживилось, «губы заалели, как будто напились крови» (120). А заговорщики, в понимании автора, пролили кровь «напрасную». Так осмысливает и изображает писатель историческую ситуацию. Предсказания беды, несчастий, гибели, заключенные в знаке-символе «четыренадцатое», ставшие реальностью в кровавый день восстания, он распространяет и на последующие события, предвидя «грядущий ужас» (127).

Первые трагические последствия он показывает в восприятии Валериана Голицына, раненого, слабого, пришедшего на Сенатскую площадь. Воз с трупами, крытый рогожей; проруби на Неве, куда спускали мертвых и живых, раненых – без разбора, спешили очистить площадь; зловещее карканье воронов. Голицын видит, как очищали мостовую от крови, закрашивали забрызганные кровью колонны и стены Сената и на крыше ремонтировали весы, символизирующие правосудие, разбитые в прямом и переносном смысле в день восстания. Но не уничтожат следы крови, не отскребут, «кровь из земли выступит и возопиет к Богу, и победит Зверя!» (124) – с отчаянной надеждой и верой восклицают герой, а вместе с ним и автор.

Изображая государя и приближенных, радующихся победе над декабристами, Мережковский подчеркивает их цинизм и равнодушие к судьбам несчастных людей. Бенкендорф, всеми силами стараясь угодить Николаю, докладывает, что арестовано много сот заговорщиков, но это не главные начальники: их нужно поискать среди сановников и членов Государственного Совета; называет Мордвинова, Сперанского, зная прекрасно, что это неправда. Таким способом он пытается бросить тень на негодных ему людей, использовать очень благоприятный момент для собственного возвышения. И ведь почти сказал правду, вскоре оцененную государем: адмирал Мордвинов, единственный из членов Верховного уголовного суда, не подписал смертный приговор декабристам. Самого Николая, видя его насквозь, старается привязать крепко к себе, завлекая, как муху в паутину: «Аракчеев был – Бенкендорф будет» (127). Хочет быть при Николае вторым лицом, как Аракчеев при Александре. Так Мережковский показывает нравственный, а вернее, безнравственный духовный мир Бенкендорфа.

Изображение Николая как человека и императора теперь, когда он, наконец, получил государство в правление, художественно неразделимо. Личностную двойственность Николая писатель переносит на методы его политики. С генералом Толем он надевает маску доброго, страдающего государя, называя арестованных «несчастливыми», «бедными», которых нужно пожалеть, никак не казнить. Генерал, не испытывавший сочувствия к заговорщикам, прекрасно видит лицемерие Николая: «Расплачется!» – подумал Толь с отвращением» (129). Видимо, такие же эмоции испытывает и автор. Виртуозную сменяемость Николаем масок писатель описывает в примечательной сцене допроса Трубецкого. То он кажется себе Аполлоном Бельведерским, победившим Пифона, грозно спрашивая, как полковник князь Трубецкой, с его фамилией, заслугами, мог связаться «с этой сволочью» (134), то надевает маску доброго, чувствительного человека, как в разговоре с Толем, но – удержаться не может, заявляя Трубецкому, что его «участь будет ужасная, ужасная!» (там же). Поддавшись бешенству, этому привычному и даже желанному, по неоднократному замечанию писателя, чувству, император, в присутствии подданных, бросился на Трубецкого, срывая с него погоны, повторяя «мерзавец», «мерзавец», и повалил его на пол. Тихое обращение, прось-

бу Трубецкого, стоявшего перед ним на коленях, Николай воспринял как призыв к его совести – и опомнился. Но последующие его действия, в описании автора, показывают, что чувство стыда также было неискренним, наигранным.

Приказав Трубецкому написать письмо жене и увидев, что тот пишет: «Друг мой, будь покойна и молись Богу» (137), – тотчас останавливает его и велит добавить: «Буду жив и здоров» (там же). Иезуитское пожелание здоровья человеку, которого сам определил в Алексеевский рavelин, в седьмой номер, впоследствии осужденному в каторжные работы вечно, но заменные, по государевой милости, двадцатью годами. Попытался еще оправдаться своим «незавидным» положением, прощение получить у арестанта, но понял, что ничего не выходит. Еще одну неслучайную сторону характера императора Николая, исходя из своих представлений о нем, раскрывает Мережковский – способность и готовность солгать, совершить подлый поступок. Стремясь выведать у Трубецкого, где скрывается Пущин, он идет на подлог, ссылаясь на признания одного из заключенных, выдавая его за показания Пущина, который якобы предал Трубецкого.

Неоднозначность восприятия и оценки писателем характера Трубецкого, намечившаяся ранее, в этой части романного повествования проявляется еще более резко. Исходя из свидетельств, что в день восстания на площади не был, арестован 26 декабря, Мережковский наполняет эти факты концептуальным художественным содержанием. «Четырнадцатое» для Трубецкого также было днем испытаний. Писатель, как врач, исследует состояние героя, констатируя болезнь от трусости. «Боялся», «едва не лишился чувств», «метался, как затравленный заяц», «перетрусивший шалун» (131–132) – такие слова и выражения употребляет автор, описывая Трубецкого. Все изменилось, вернее, все меняет Мережковский, изображая кардинально преобразенного героя. Эмоциональным толчком к этому изменению послужили чувства к жене Екатерине, которую он увидел в доме своего шурина, австрийского посла, где собирался переночевать, так и не дойдя до Сенатской площади. Любовь к ней вытеснила страх, а окончательно победить его помог Бог. Мережковский вводит в повествование увиденный Трубецким сон о чем-то прекрасном и радостном; а проснувшись, тот понимает, что на него сошла божеская милость, что страха нет и никогда уже не будет: «На Бога уповаю, не боюсь» (133).

Введенный в приемную государя четырьмя конвойными с саблями наголо, Трубецкой, уже арестант, на допросе держался с достоинством, правдиво держа ответ за свое участие в Тайном обществе. Чувствуя поддержку от Бога, был спокоен и даже жалел беснующегося императора. Мережковский как бы разводит этих героев по разные стороны добра и зла, истинной веры и грешных сомнений. Ушедший от Трубецкого страх все также мучает государя, вспомнившего день убийства отца, Павла I, и боявшегося, что и его участь будет «ужасной», как он предрекал Трубецкому. И совсем уже мисти-

ческий штрих: приблизившись к зеркалу, Николай вдруг увидел, «что это не он, а кто-то другой – двойник его, «самозванец», «император-выскачка» (138), шепчущий и смеющийся над ним.

Совсем другое настроение, светлое и доброе, пронизывает повествование о Голицыне и Мариньке. Как будто уставший от мрачных пророчеств, Мережковский рассказывает о трепетных чувствах влюбленных, и не только Мариньки и Голицына, но и старичка Фомы Фомича, до сих пор любившего старую барыню – бабушку Мариньки. Голицын, выздоравливающий от ранения, и душевно набирается новых сил, чувствуя любовь – даже большую, чем к возлюбленной, – к жизни, ко всему естественно-природному, освещенному солнцем. Недаром, пишет автор, у него вырвалось: «Маменька... Маринька» (139). В характере Голицына писатель отмечает духовный рост, добрые перемены. Благодаря Мариньке, он глубже оценивает события «четырнадцатого», не только с политической, но с нравственной точки зрения, опираясь на незыблемые божеские истины. Его желание убить Зверя-Николая, появившееся на мятежной площади, находит отклик в чистой, открытой Богу душе невесты. И само понимание Зверя, теряя конкретные очертания, расширяется до осознания его как вселенского зла, сатанинского начала. Живущая по христианским законам, Маринька помогает ясному осознанию Голицыным границы между деяниями Бога и Антихриста. И, пишет Мережковский, «он уже ничего не боялся – ни цепи, ни пыток, ни плахи. Знал, что Она оградит от всего – Стена Нерушимая, Заступница Вечная, Радость Нечаянная» (165). Так, обрисовав Трубецкого и Голицына, обретших душевную уверенность и покой благодаря своим возлюбленным, писатель утверждает мысль, что победить тьму и горести поможет Богоматерь.

Изображение Голицына-арестанта Мережковский, фактически, подчиняет этой идее. «Хорошо, все хорошо!» – с такими утешительными для себя мыслями герой переживал унижительные допросы и весь ужас тюремного заключения. На допросах, показывает автор, Голицын держался с достоинством, отвечая спокойно и язвительно, ни разу не изменил своей совести, не выдал никого из своих товарищей: «Вступая в Общество, я дал клятву никого не называть» (169). Смело вел себя и с императором, грозившим ему вечным проклятием, говоря, что он восстал не против Бога, а против Зверя, «который себя Богом делает» (171). От этих своих слов у Голицына захватило дух, ему показалось, что и вправду сейчас убивает Зверя. Приказ взбешенного Николая был бесчеловечен: «Заковать его так, чтобы он и пошевелиться не мог» (172). Боявшийся пыток до «животного ужаса» (279), Голицын просит Господа о помощи, и, увидев, что на него надели кандалы, не мучая, радуется и умиляется. Ему казались «превосходными» и комендант крепости – старый человек на деревянной ноге, и плац-майор с проваленным носом, и комендант Алексеевского рavelина – худой, бледный, как мертвец, и нижние чины. Нужно заметить, что восторженно-смирненное состояние героя, которое описывает автор, представляется нарочитым и неестественным, но писателю,

видимо, было нужно таким приемом показать психологические изменения в его внутреннем мире.

В палитре красок, рисующих героя, уже с начала изображения появляются знаки-символы, предсказывающие его нелегкую судьбу. Арест и заключение в Петропавловской крепости стало венцом его испытаний, трудных сомнений в поисках истины. Но ни ужасы застенка, ни лицемерные искушения тюремщиков, суливших послабление участи за признательные показания против друзей-заговорщиков, ни подорванное здоровье не поколебали опору его душевного состояния. Таким же стойким и язвительным показывает писатель Голицына и в день суда, когда он предстал перед Следственной комиссией по делу Четырнадцатого (именно так называет Мережковский этот комитет). Как «дурацкую комедию» (192) воспринимает герой все происходящее: и колпак на голове по дороге в суд, и почти светский разговор уставших от скуки судей, и дремавшего после сытного обеда председателя Татищева. С иронической усмешкой описывает автор всполошившихся Голенищева-Кутузова и проснувшегося Татищева, как будто увидевших привидение, после прямого обвинения их Голицыным в цареубийстве 11 марта 1801 г. Замышлявших убийство императора декабристов судят, а настоящих – нет.

После такой дерзкой выходки Голицын был отравлен булкой с ядом, а когда начал выздоравливать, безжалостные тюремщики все пытались заставить его дать письменные показания по делу о восстании. Мережковский отмечает муки совести Голицына, не знавшего, как поступить: писать ли только правду или попытаться лукавить, чтобы никому не навредить, особенно Оболенскому и Каховскому, имевших отношение к смерти Милорадовича. Оболенского он любил, а Каховский прислал записку с просьбой не выдавать. В конце концов – на очной ставке – указал на Каховского. Таким образом, писатель, сужая границы художественного вымысла, восстанавливает исторический факт.

Автор пишет о том, как нечеловеческое существование в заточении уродует личности людей. Каховский, бывший таким решительным и жестоким на площади, испытывает страх перед предельным наказанием. И другие арестанты, как рассказывает «забулдыга и пьяница» (199) доктор, лечивший Голицына, совершают тяжкие поступки. Полковник Пестель хотел отравиться, чтобы избежать пыток, поручика Анненкова едва спасли – повесился в камере на полотенце, молодому мичману Дивову все были видения, что закалывают государя кинжалом; он рассказывал о своих снах, а людей хватили по этим доносам; полковник Булатов, узнав, что обманут Николаем, обещавшим освобождение, уморил себя голодом; подполковник Фаленберг, ложно обвинивший себя в замысле на цареубийство и ждущий освобождения и не получивший его, сошел с ума. Называя реальные исторические фамилии декабристов, Мережковский недаром передает эти подробности из их биографий с помощью рассказчика – доктора по фамилии Затрапезный; документально они не подтверждены.

Только духовное раскрепощение, считает автор, делает людей стойкими, способными переносить жизненные трудности. Но процесс этот связан с большими испытаниями и не всегда приводит к угодному Богу исходу. Именно в свете таких представлений он обрисовывает характеры арестованных декабристов Рылеева и Одоевского. Мелькнувший в одном эпизоде при изображении восстания, теперь Рылеев-узник занимает одну из важных позиций в романном повествовании. Мережковский как бы восстанавливает историческую значимость руководителя Северного Общества. Он сообщает, что Рылеева арестовали спустя несколько дней после мятежа, допросили в Комитете, затем привезли во дворец к государю на допрос. В этой сцене, яркой по художественному исполнению, автор раскрывает личность Рылеева, исходя из своих религиозных и нравственных убеждений.

Писатель обращает внимание на беспокойное душевное состояние героя, путавшего реальность с призрачностью. Комендант крепости, удивленный благодарностью Рылеева за свидание с женой, которого на самом деле не было, называет его болезнь – «стень... когда наяву мерещится» (147). В сознании героя все смешалось: арест, рыдания жены, милость государя, посланного ей деньги, письмо жены, в котором она трогательно отзывается о милосердии императора. Для Рылеева Николай по-прежнему «подлец», но вдруг появляется что-то новое в отношении к нему: «Ну, а что если...» (147). Таким психически неустойчивым состоянием Рылеева и воспользовался Николай. В этот раз автор отмечает на нем маску доброго, страдающего человека – послушался совета Бенкендорфа: «Надо лаской да хитростью» (146). Разговор императора с Рылеевым Мережковский изображает как театральную постановку, ведущую роль в которой исполняет Николай. Отослал всех, в том числе и Бенкендорфа, хотя знал, что тот будет подслушивать и записывать. Не догадывался, якобы, кто перед ним, но заметил, проговаривая как бы про себя, что глаза узника честные, которые лгать не могут. Психологически тонко и умело настраивает Рылеева на волну полного доверия к себе, чтобы тот жалел его, сочувствовал. И Рылеев, как по приказу, разглядел в улыбке Николая «что-то молящее, жалкое» (148).

Прекрасно понимая, что от несостоявшихся цареубийц прощения не будет, сам просит прощения у Рылеева, целуя его. Этот момент автор показывает как поворотный: декабрист еще не верит государю, но семя сомнений уже посеяно. Чтобы вызвать арестанта на откровенность, Николай сам рассказывает ему о своей «беде». Он говорит о возложенном на него тяжелом бремени быть царем, о своем одиночестве, отсутствии советов и помощи, что никогда не забудет кровавого дня Четырнадцатого, ужас которого никогда не искупить: «Ведь я же не зверь, не изверг, – я человек» (149). Как и Рылеев, он тоже отец, у того дочь Настенька, а у него сын Саша. Много решал этими словами Николай: разбередил сердечную рану Рылеева, заставил вспомнить оказанную его семье милость, размягчил душу, облегчая тем самым свои подходы к нему. Не хотел, якобы, он отдавать приказ стрелять, он – отец, а народ – дитя, ведь это

значит, убить и своего сына Сашу. Николай произносит те слова, которые он мысленно уже говорил, перед тем как разрешить стрелять в людей, а не по-верх голов. Но тогда он был растерян, расстроен, боялся переступить опасную черту. Теперь же эти слова для него ничего не значат, они – из роли, которую он играет.

Такая змеиная тактика – выждать и ужалить – заставила Рылеева отвечать, заговорить об Обществе, его задачах. Он вновь, замечает автор, обрел облик неукротимого бунтовщика. Но и его Мережковский не показывает только как невинную жертву, подмечая в нем неприемлемые для себя качества. Способ характеристики таков, что писатель как бы возвращает читателя к уже данной герою оценке. Говорит он непонятно, книжно, потому что свою речь он обдумал заранее, его призывы все такие же высокопарные, не изменившиеся после кровавой неудачи восстания: «Мы начали – другие кончат... Будет революция в России, будет!» (150) Слушая Николая, который называет себя его «другом», «братом», ухаживает за ним, поднося воду, капли, Рылеев долго сопротивлялся искушению: «Ну, конечно, лжет! Стень, стень, оборотень!» (151). Но последний выпад государя, назвавшего себя «единомышленником» заговорщиков, разрушил остатки душевной защиты Рылеева: «Сорвался – полетел, поверил» (152). Теперь Николай – «отец... Родимый царь-батюшка, красное солнышко» (153).

В оценке Мережковского, Рылеев не выдержал испытания, потому что не надеялся на божескую поддержку и поэтому поддался сатанинскому искушению. В этих героях писатель обнаруживает общее: по разным причинам, но они переступили через добро. Свои ответы на вопросы Николая о членах организации руководитель Северного общества уже не воспринимал как предательство: «Рылеев все выдавал, всех называл – имя за именем, тайну за тайною» (153). Подыгрывая заговорщику, Николай плакал, вызывая его истерическую жалость, вытирая своим платком свои и его слезы. Этот платок – символический знак, указывающий на то, что сближает героев, – иудины слезы. Торжествующий Николай чувствовал, пишет автор, «что одержал победу большую, чем на площади Четырнадцатого» (154).

В одном сюжетном пространстве и практически в одном времени объединяет писатель трех героев – Рылеева, Голицына и Одоевского, соотнося их между собой, и, руководствуясь своим миропониманием, дает оценки их поведению. Примечательно, что перед своим допросом Голицын услышал Рылеева, говорившего провожающему его Бенкендорфу, что свои признательные показания он сделал из благодарности к его величеству. Потрясенный Голицын на миг увидел «неузнанного-неузнаваемого» (170) Рылеева. Эта краткая встреча, так же как и то, что Голицын, оставленный за ширмами, видит и слышит допрос Одоевского, видимо, заранее планировалась Николаем и Бенкендорфом, как театральными постановщиками.

При обрисовке характера Одоевского вновь, как и в случае с Рылеевым, автор обращает внимание на его болезненное состояние, психическое возбу-

ждение. Тяжелым для князя оказалось пребывание в тюремной крепости. Допрос в описании Мережковского выглядел очень странно: государственные лица суежились вокруг лежавшего на диване узника, заботливо спрашивали о его самочувствии, позвали лекаря, чтобы пустить кровь. Сам Одоевский пребывал в блаженном состоянии, как под гипнозом: «Все прошло. Дух бодр, ум свеж, душа спокойна... никогда я не был так счастлив!.. Ужасно говорить хочется» (173–174). Хочет, ничего не утаивая, назвать все «лица», «навести на корень» (174). Государь для него «ангел, а не человек». Мережковский сознательно упустил процесс искушения Одоевского этим «ангелом», намекая на то, что схема была та же, что и с Рылеевым. Одоевский как будто не понимает до конца, что с ним происходит, на вопросы о конкретных делах отвечал неопределенно, словно ведя беседу с друзьями. Писатель проясняет такое состояние Одоевского: по словам героя, когда расстреляли людей, он долго ходил, плутал, ночевал под мостом в канаве, чуть не утонул в проруби, пришел, наконец, к дяде Ланскому, который обещал его спрятать, а сам выдал полиции.

Временами, как будто выйдя из беспамятства, видел происходящее в истинном свете, кричал: «Что вы со мной делаете! Палачи! Палачи! (176) Но тут же: «Простим друг друга, возлюбим друг друга!» (177). Как и Рылеев, Одоевский, в изображении Мережковского, дал важные для судей показания, – но в полуобморочном состоянии, которым те воспользовались. Один Голицын, как показывает писатель, старался противоборствовать жестокому давлению, но и он ответил, хотя долго не хотел этого, на «вопросный лист», который был роздан всем заключенным декабристам. За это арестант получил облегчение – сняли кандалы. Но, поступаясь даже малой толикой своей совести, Голицын сильно переживал, заболел. Потом он стал выздоравливать, но в авторской интерпретации это уже окончательное, в смысле духовном, выздоровление. Как награду расценивает Мережковский его свидание с Маринькой, после которого он еще больше укрепился душой. Уходя, она его перекрестила: «Храни тебя Мать пречистая!» (215), и Голицын, целуя землю, повторил: «Земля, земля, Мать Пречистая!».

Нетрадиционное художественное решение нашел Мережковский для изображения характера С.И. Муравьева-Апостола. Он добавляет в историческое повествование якобы собственные «Записки» героя. В композиционном строении романа – это одна из глав, непрерывность сюжетной линии писатель осуществляет, соединив персонажей как арестантов в Петропавловской крепости. Муравьев-Апостол отдал свои записки Валериану Голицыну, чтобы тот передал священнику Петру Мысловскому на сохранение. Сами «Записки» содержат не только биографические подробности героя, его рассказ о событиях декабря 1825 года, но также оценку Пестеля, Бестужева-Рюмина и некоторых других декабристов. Но, пожалуй, самое главное для писателя – размышления на исторические и религиозные темы. Автор через героя воспринимает эти «Записки» как «завещание России» (216).

Автор изображает Муравьева-Апостола как интеллигента, имевшего прекрасное образование, обладавшего широтой мышления, мыслителя-философа. Свое поколение он называет «детьми Двенадцатого года», считая, что «Двенадцатый год – начало Двадцать пятого» (217). Убежденный революционер, он полагал, что в смутные времена переворота, восстания нужно опираться на веру, «соединить Христа с вольностью – вот великая мысль, великий свет всеозаряющий» (218). Пестель, по его словам, «даже не пробовал» (там же) это сделать, осуждая позицию умозрения в рассуждениях героя. Арестованный 14 декабря, Пестель, по ироническому замечанию Муравьева-Апостола, в реальной борьбе за вольность не участвовал, «остался в чистом умозрении» (220). Главный упрек руководителю Южного общества – безбожие (разумеется, в интерпретации автора). Как ни близок Мережковскому Муравьев-Апостол в желании понять истинную религию, Бога, а все же и он в романе не безусловно положительный герой. Писатель показывает его в неприглядной истории с полковым командиром Гебелем, настигшим заговорщика, чтобы арестовать. Со зверской решимостью Муравьев-Апостол бил того прикладом по голове, по рукам, с одним желанием – убить, как дьявола. Так же, замечает автор, как и на Сенатской площади, бунтовщики на Юге причастились кровавой чаше.

Осмысливая декабристское движение с нравственно-философской и религиозной точек зрения, Мережковский приходит к выводу, что кровавая битва за вольность не согласуется с Божескими заповедями. «Вольность без Бога – злодейство, братоубийство неутолимое» (234). Без Бога – и власть, переступившая кровь людей, стремящаяся подчинить всех своим законам. Как крик души, вырывается у Муравьева-Апостола в «Записках»-завещании: «Слышу поступь тяжелую: Зверь идет... Россия гибнет. Россия гибнет. Боже, спаси Россию!» (234) И эхом такие же слова, пишет Мережковский, повторяет Голицын, слышавший постройку виселицы, и все приговоренные к ней. И вдруг – перемена к оптимизму. Тот же Муравьев-Апостол на вопрос Голицына, погибнет ли Россия, отвечает: «Не погибнет – спасет Христос» (245).

Описание казни декабристов автор начинает с ночи, ей предшествующей, показывая состояние духа мучеников за идею. Священник отец Петр ходил по камерам, исповедовал и причащал приговоренных к смерти. Каховский, все такой же одинокий в тюрьме, не признававший бывших друзей, предавших его, как ему казалось, и на исповеди проклинает «подлецов» государя и Рылеева. Взявший грех на душу священник причастил его нераскающимся. А на казнь пошел, «как будто в другую комнату закурить трубку» (240). Решительно отказался от причастия и Пестель, повергнув пастора (по вере) в ужас. На вопрос, верит ли он в Бога, автор «Русской Правды», перемежая русскую речь французскими и немецкими словами, отвечает, что сердцем не верит, но умом допускает наличие чего-то, что все называют Богом. Но, подозревает Мережковский, это была удобная для него маска. Переодеваясь к казни, Пестель долго не мог найти нательный крестик, подарок сестры. Ис-

пугался, почти совсем потерялся, а найдя поцеловал его с жадностью и тут же успокоился.

Изображая Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина в последнюю перед казнью ночь, писатель отмечает спокойное мужество Муравьева-Апостола, поддерживающего сильно боявшегося смерти Бестужева. Утешая, читал ему Евангелие. Мережковский не скрывает своего сочувствия к этому молодому человеку, 23 лет от роду, все надевавшемуся на помилование государя, сознанию которого только теперь, на пороге смерти, начинают открываться вечные истины.

С таким же тихим сочувствием описывает автор и Кондратия Рылеева. Тот исповедовался и принял причастие, как будто и не было в его душе раздражающих сомнений и бурь. Перед вечностью герой превыше всего оценил жизнь, естественную, данную Богом. Глядя на часы, высчитал, что осталось ему «два часа сорок одна минута» (236). Писатель, не останавливаясь на самом процессе, сразу показал результат прозрения Рылеева в отношении Николая: «Обманул, оподлил, развратил, измучил, надругался – и вот теперь убивает» (236). Не было, отмечает Мережковский, в душе героя ни страха, ни злобы, ни стыда, который жег его после брошенного Каховским ему в лицо оскорбления: «Подлец!» Он знал, что он не подлец, перед смертью он искренен – так расценивает автор чувства Рылеева. Но в то же время писатель замечает, что окончательно духовное выздоровление, как у Голицына, у героя вряд ли наступит. Начав писать письмо жене, Рылеев не знал, что сказать, но усмехнулся и «сочинил»: «...О, милый друг, как спасительно быть христианином!» (237)

При мысли о хозяйственных и денежных делах Рылееву стало тошно. Но автор не поясняет отчего: то ли оттого, что заканчивается естественная земная жизнь, то ли оттого, что она ему даже сейчас менее интересна, чем возвышенно-поэтическая, как он писал в своем стихотворении: «Мне тошно здесь, как на чужбине, / Когда я сброшу жизнь мою?.. / Весь мир, как смрадная могила; / Душа из тела рвется вон» (237). На казнь, пишет автор, шел спокойно, сердце билось ровно, просил отдать императору его платок, которым тот вытирал свои и его слезы, но все так же остался глух к словам священника «о покаянии, прощении, о покорности воле Божьей» (238).

Сам момент казни Мережковский предваряет изображением экзекуции над 116 заключенными. Вывели их на поле, где раньше была свалка и до сих пор еще валялся мусор. Все обставлено было, как описывает автор с мрачной иронией, как театральная постановка: войска с заряженными пушками, бой барабанов, пылали костры, стояли палачи. В костер бросали все с осужденных – мундиры, эполеты, ордена. Над головами ломали подпиленные шпаги, потом «нарядили шутами» (247) в полосатые больничные халаты. Это было «шельмование» – такое яркое слово употребляет писатель. Арестанты, увидев виселицу, называют ее качелями, а Голицын весами: «На этих весах Россия будет взвешена» (там же). Не обходит вниманием Мережковский и людей, «готовивших»

казнь. Кутузов, принимавший участие в убийстве Павла I, теперь руководит казнью царевубийц; ловкий придворный, лишенный какой-либо жалости, граф Чернышев; как о чем-то привычном, обыденном, спорили о веревках – тонки, не тонки, выдержат, не выдержат. Палач, то ли латыш, то ли чухонец с курносый носом, был, отмечает писатель, чем-то похож на императора Павла. Мережковский не преминул прибегнуть к символу: как будто сам Антихрист или его подручный будет участвовать в казне.

В рассказ о последних минутах жизни декабристов Мережковский неожиданно привносит интонацию спокойствия, которая на фоне изображаемых приготовлений более пронзительно подчеркивает трагедию происходящего. Писатель описывает каждый шаг осужденных и отслеживает каждую оставшуюся им минуту. Вот они, с трудом преодолев высокий порог калитки из-за тяжелых кандалов, выходят из каземата, взбираются на вал, их сажают на траву. И разговоры декабристов автор передает как сдержанные и не о том, что сейчас произойдет. Ровный тон задает Пестель, который «до последней минуты не знал, что будут вешать» (248). Увидев виселицу, произнес: «Это слишком. Могли бы и расстрелять» (там же). Обращает внимание на внешний вид палача – кожаную шапку, красную рубаху, как на праздник. Переменяя русскую речь с французской, даже зевнув, замечает, что Чернышев не нарумянен. Но за всей этой невозмутимостью, «болтовней о пустяках» (249) писатель открывает внутреннее напряжение, которое декабристы старались скрыть с помощью невероятного самообладания. Рылеева «тяжесть давила... точно каменные глыбы наваливались» (там же); Пестель слишком поспешно спросил подошедшего священника: «Сейчас?» (там же)

Последнее благословение отца Петра, в восприятии и изображении Мережковского, объединило декабристов перед Богом, приоткрыв им тайну вечности. И Каховский примирился с Рылевым, они, как было прежде, теперь навсегда «вместе! Вместе!» (251); и Пестель, хотя и не православный, попросил благословить его. В ответ на слова Муравьева, что провожает их священник, как разбойников, отец Петр торжественно произнес слова Христа, адресованные одному из распятых с ним: «Аминь глаголю тебе: днесь со Мною будеши в раю!» (250) Лица всех осужденных – Пестеля, Рылеева, Муравьева, Бестужева, Каховского – в последний миг были, отмечает писатель, «спокойны и как будто задумчивы» (251). Сообщая страшные подробности казни, писатель как бы ускоряет темп описания, ведь это были обязанности палачей, стремящихся побыстрее сделать свою «работу»: одели осужденных в белые саваны, на головы колпаки, петли, смазали салом веревки. Наконец: «Готово? – крикнул Кутузов. Готово! – ответил подручный» (252). Но веревки соскользнули с шеи Рылеева, Бестужева, Каховского, и они упали в яму. Командующий казнью Кутузов воскликнул «Э, черт» (252), а отец Петр бросил крест и побежал к помосту. Автор, видимо, изображает это как знаки – символы, долженствующие показать непрестанную борьбу Бога с дьяволом, особенно обостряющуюся в критические моменты.

Еще одному эпизоду Мережковский придает символическое значение. Перед повешением на шею осужденным надели кожаные четырехугольники с их именами и надписью «цареубийца». Рылееву и Каховскому эти кожи перепутали, но быстро исправили ошибку. Но писатель, сочинивший этот пассаж, видит в нем непростой смысл: оба декабриста в одинаковой мере виновны, по его мнению, в пролитой на площади восстания крови. И то, что они пережили не одну, а две смерти, – это, видимо, в понимании Мережковского, божеское провидение. Две смерти, два ужасных мгновения пережили Муравьев и Пестель, оживший на миг, пишет автор, когда носки ног его коснулись вновь поднятой доски. Один Бестужев, почти мальчик, «от второй смерти избавился» (253).

Описав мужественное поведение декабристов-мучеников, Мережковский приводит злые, лживые слова генерала Дибича в донесении государю, сбежавшему, «как иные говорили» (253), в Царское Село: «Войско вело себя с достоинством, а злодеи с тою низостью, которую мы видели с самого начала» (там же). Николай, подхватывая игру, в ответ замечает: «Я хорошо знал, что герои 14-го не выкажут при сем случае более мужества, чем следует» (там же). И все же заканчивает писатель повествование на оптимистической ноте. Голицыну в день казни его друзей комендант принес письмо от Мариньки, полное надежды на будущее: вместе с Екатериной Ивановной Трубецкой они хлопотали о разрешении последовать на каторгу к своим мужьям. С радостью, несмотря на ужасное известие о казни, он впитывает слова Мариньки о милости Божьей, о надежде «на покров Царицы Небесной... всех скорбящих Матери» (254). И теперь он уже знал, что Россию спасет Христос, и «Россию спасет Мать» (258). Так Мережковский выразил в этом романе твердую уверенность в будущем спасении России.

Художественные средства создания характеров и ситуации, связанной с действительными фактами русской истории – смертью Александра I, восшествием на престол Николая I, восстанием декабристов, – находятся в соответствии с «законами художественного текста, традиционными параметрами жанра романа», по замечанию Н.М. Солнцевой о ранних произведениях писателя¹. Исторические герои Мережковского – романские, в которых он открывает личностное начало. Их поведение и поступки он согласовывает с заявленным в произведении тематико-проблематическим аспектом. При этом роман перегружен, как вслед за И. Ильиным пишет В.В. Агеносов, «историческими деталями, архивными материалами... Упрек этот писателю пришлось слышать едва ли не со времени публикации его первых романов»². Действительно, в произведении много исторических лиц, подробностей их биографий, описания их жизни в настоящем. Но при этом, нужно заметить, что персонажи, не только главные и второстепенные, но даже преходя-

¹ Солнцева Н.М. Дмитрий Сергеевич Мережковский // История литературы русского зарубежья (1920-е – начало 1990-х гг.) М., 2011. С. 216.

² Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918–1996). М., 1998. С. 77.

ще-эпизодические, занимают свою литературную нишу именно благодаря искусству мгновенных подробностей – во внешности, одежде, манере речи, особенностях поведения. Это, на наш взгляд, является несомненным художественным достоинством писателя. «14 декабря» – один из интересных ранних романов, в котором Д.С. Мережковский отразил свои мировоззренческие постулаты, в том числе религиозные взгляды на ход исторического процесса, равнодушную оценку его, и, безусловно, принципы художественного изображения находятся в зависимости от его миропонимания.

Сведения об авторе:

Татьяна Яковлевна Орлова,
канд. филол. наук
старший научный сотрудник
филологический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова

Tatiana Orlova,
Candidate of Philological Sciences
Senior Researcher
Philological Faculty
Lomonosov Moscow State University